ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

HISTORY OF PHILOSOPHY

УДК 1(091)+ 165.9
ББК 87.3(2)+ 87.25

Симон Семенович Илизаров
Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий отделом историографии и источниковедения истории науки и техники, Россия, Москва, e-mail: sinsja@mail.ru

Виктор Александрович Куприянов
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора социальных и когнитивных проблем науки, Россия, Санкт-Петербург, e-mail: nonignarus-artis@mail.ru

Очерки по истории русской философии 50–60-х годов[1]

Тимофей Иванович Райнов

Часть восьмая *

Подготовка к публикации С.С. Илизарова и В.А. Куприянова

Simon Semenovich Ilizarov
S.I.Vavilov Institute for the History of Science and Technology, RAS, Advanced PhD (History), Professor, Chief Research Scientist, Head of the Department of historiography and Source study of the history of science and technology, Russia, Moscow, e-mail: sinsja@mail.ru

Victor Aleksandrovich Kupriyanov
St. Petersburg branch of S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, RAS, PhD (Philosophy), Research Scientist of the sector of social and cognitive problems of science, Russia, St. Petersburg, e-mail: nonignarus-artis@mail.ru

The Outlines of the History of Russian Philosophy of the 50-60s Years

Timofey Ivanovich Rainoff

Part eight

Prepared for Publication by S.S. Ilizarov and V.A. Kupriyanov

[1] Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-011-00366 и проект № 20-011-00071). The publication was released with the RFBR (Russian Foundation for Basic Research) financial support (project № 19-011-00366 and project 20-011-00071).

* Части первая и вторая опубликованы в: Соловьевские исследования. 2020. Вып. 2(66). С. 59–68. Часть третья – Соловьевские исследования. 2020. Вып. 3(67). С. 39–47. Части четвертая и пятая – Соловьевские исследования. 2020. Вып. 4(68). С. 62–74. Части шестая и седьмая – Соловьевские исследования. 2021. Вып. 1(69). С. 31–41.

© Илизаров С.С., Куприянов В.А., 2021
Соловьевские исследования, 2021, вып. 2, с. 20–36

DOI: 10.17588/2076-9210.2021.2.020-036

8. «Реалистическая» потребность

После наполеоновских войн и декабристского движения, – явлений, психологический смысл которых заключался в остром подъеме патриотических чувств, в умножении и усилении политических забот, страстей и волнений, и которые потребовали, поэтому, от людей александровской эпохи, колоссального напряжения и расхода духовных сил, – естественно должна была наступить пора отдыха, накопления новых сил и – культивирования ценностей иного, чем прежде, порядка. Коллективные, по преимуществу, интересы и чувствования александровского времени, стеснявшие или видоизменявшие более личные, частные и интимные проявления душевной жизни, уступили теперь свое первенствующее место как раз этим последним. Интересы мировой политики, вопросы государственного строительства и гражданского быта стушевались в николаевское царствование перед вопросами и интересами частно-хозяйственными, лично-нравственными, литературными, научными и философскими.

В том же направлении влиял на общественные настроения николаевских времен и правительственный режим. Опасаясь новых покушений на свою суверенность и неограниченность, власть пресекала или предупреждала всякие проявления самостоятельного интереса к общественности, желая видеть их только в официально-определенных и точно-регламентированных изъявлениях верноподданнических чувств, а во всем остальном предпочитая, чтобы каждый гражданин замкнулся в рамках частных и личных интересов, по возможности далеких от вопросов об устройстве и охране основ русской общественности.

Одних этих – общественных и правительственных условий было достаточно, чтобы сообщить духовной жизни николаевских десятилетий, так сказать, «субъективную» окраску и направление. А были и другие условия, от рассмотрения которых мы здесь уклонимся, ограничившись общим замечанием, что они действовали в том же духе.

Душевный склад людей 30–40-х гг. хорошо схвачен и выражен в стихотворении Тютчева Silentium, написанном в 1833 году:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи!
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

Взрывая, возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи!
Лишь жить в самом себе умей:
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи:
Внимай их пенью и молчи!

В меланхолическом самочувствии Тютчева все окрашивалось в преувеличенно-черный цвет, но и в самой тогдашней действительности было не мало мрачных тонов, ложившихся на тот самый душевный «рисунок», который мастерски воспроизвел в своих стихах наш гениальный лирик. Как и Тютчев, его интеллигентные современники верили и чувствовали, что «есть целый мир таинственно-волшебных дум», в религии, поэзии, науке и философии – и они усердно предавались художественным, научным и религиозно-философским занятиям. Их души, смятенные военными и политическими грозами, стремились забыться в интимном переживании «мирных» ценностей, – и совет Тютчева: «Пускай в душевной глубине и всходят и зайдут оне» был их глубокопрочувствованным лозунгом. Ослабленные чувства общественности, сочетаясь со стремлением к самоуглублению, возбуждали в них мысль, что каждый живет, главным образом, в себе и собою, – и им были понятны и близки сомнения Тютчева: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он чем ты живешь?». И если они не разделяли мнения поэта, что «мысль изреченная есть ложь», и очень охотно «изрекали» свои «мысли», то в способе, каким они это делали, в их старании излить душу в прочувствованных и горячих письмах, которыми они усердно обменивались, в эмоционально-насыщенном слоге их литературных произведений и во всем изящном и уютном обиходе их жизни как будто сквозит опасение, что если во все это не вложить всей души, мысль изреченная и вообще выраженная будет ложью. Люди 30–40-х годов как бы открыли мир интимно-человеческих переживаний, и их внимание, прикованное целиком к чарующим подробностям этого мира, отвернулось от другого мира, – от предметной действительности тех вещей и реальных отношений, среди которых они жили, внимая лишь «пению» своих «таинственно-волшебных дум» – настолько, что по наблюдению Салтыкова-Щедрина «самое понятие о “реальном” как бы исчезло из общественного сознания»[2]. Без сомнения, и эти «думы», и сопровождавшие их «чувства» были тоже чем-то «реальным». Но эта реальность переживалась тогда не как таковая, а в своем ценностном смысле. Ею наслаждались или огорчались, интересуясь не ее конкретным содержанием, а ее отношением к личности, к ее удовлетворению и удо-

[2] См.: Салтыков-Щедрин М.Е. Пошехонская старина. Жизнь и приключения Никанора Затрапезного. Санкт-Петербург: изд. насл. авт., 1890. С. 345. (Точная ссылка восстановлена нами. – Прим. ред.)

вольствию. В каждом отдельном случае спрашивали не о том, что действительно, а о том, что ценно и насколько оно ценно. Знаменитая в истории умственных течений 30–40 гг. формула: что разумно, то и действительно, что действительно, то и разумно – представляет как раз попытку определить реальность – ценностью и заменить вопрос о реальности вопросом о ценности (разумности). Формула эта вполне соответствовала стремлению людей 30–40 гг. «прочь от действительности», даже от реальной действительности своих интимных переживаний. И любопытно, что и освободившись от оптимистической оценки действительности, они не расставались по отношению к ней с оценочною точкою зрения, а только заменяли ее пессимистической: так Белинский и многие его сверстники эволюционировали от признания гегельянской «разумной действительности» к признанию «гнусной рассейской действительности»[3].

Описанные умонастроения служили одною из главных причин того успеха, каким пользовались в 30–40-х гг. у нас разные «идеалистические» учения, особенно – гегельянство с его переносом проблемы объективной реальности в плоскость эволюции познающего и оценивающего разума. И, как ни подчеркивал Гегель «объективность» этого разума, ее в нем все-таки было мало, так как сосредоточение мысли исключительно на разуме, хотя бы и «абсолютном», означает замену вопроса о реальности вопросом о том, как сам разум из собственных недр создает и признает реальностью свои продукты, в которых на первый план выступает, конечно, их «разумность»: отсюда и знаменитое признание действительным только – разумного, т.е. улетучивание проблемы реальности в проблеме ценности. Русские поклонники Гегеля, все эти «идеалисты 30-х годов», – Бакунин, Белинский, Станкевич, Герцен и др., не являясь философами в собственном смысле, а относясь к философии романтически-религиозным образом, и вовсе изгоняли из гегельянства проблему реальности, заменяя ее вопросами о нормах и принципах личной жизни и поведения, – вопросами о должном и недолжном, прекрасном и безобразном. Среди этих вопросов проблеме «сущего» почти не было места. И оттого, «реализм», отводящий первенствующую роль именно этой проблеме, и был органически чужд нашим передовым деятелям 30–40-х годов.

Однако, с течением времени и они должны были ощутить «реалистическую потребность», не только в философии, но и в сфере всей «жизни». К этому побуждали три следующие психологические пружины. – «Лишь жить в самом себе умей» – этот совет может быть принят к исполнению только в начальных стадиях интимно-замкнутого существования. Деятелям 30-х годов было естественно стремиться к такому «бытию» – это была реакция против прежнего, «отраженного» от личности, образа жизни. Но по мере того, как они давали выход и удовлетворение лично-интимным проявлениям духовной жизни, потребность в

[3] Выражение В.Г. Белинского в его письмах. (Речь идет о письме В.Г. Белинского В.П. Боткину от 1 марта 1841. – Примеч. ред.)

их исключительном культивировании должна была падать. А вместе с тем, они должны были ощутить со всею силою, насколько всякое «творчество для себя» является, по тонкому наблюдению Потебни, и «творчеством для другого». И по мере того, как потребность в личном самоудовлетворении у них падала, они начинали обращать внимание на то, чтобы и «другой» мог воспользоваться плодами их уединенного цветения. Таким образом, они получали толчок к выходу за пределы собственного я и его интересов, и перед ними начинала открываться перспектива объективной действительности. Эту эволюцию пережили все деятели 30–40 гг., а особенно ярко – Белинский и Герцен, деятельность которых в 40-х гг. все больше и больше окрашивалась интересами «другого» и той объективной среды, в которой влачил свое тусклое существование этот «другой»: первоначально кружковые философы, они становятся затем общественными деятелями. – Этому содействовала и другая причина. Всякое душевное переживание по существу двигательно, моторно: оно – либо начало движения, либо затухание движения, либо аккомпанемент длящегося движения. Этой своею «моторной» стороной душевная жизнь связана с объективной действительностью, которая и сама представляет в сущности систему действий, в том числе и движений. Но бывают времена, когда люди испытывают потребность замкнуться исключительно в процессах собственной душевной жизни, отрешившись от ее двигательных, активных продолжений. Такова была, как мы видим, эпоха 30–40-х годов. Передовые деятели того времени «таили и чувства и мечты свои» «в душевной глубине». И оттого не чувствовали остро своих связей с объективною действительностью. Но именно углубление в себя, интенсификация духовной жизни заставляла их все больше и больше ощущать двигательный характер тех «таинственно-волшебных дум», которыми они так напряженно наслаждались. Сильное чувство, содержательная мысль, искреннее стремление к идеалу – неизбежно требуют активного продолжения, действенного воплощения.

Начав с культуры интимно-созерцательных благ, люди 30–40-х годов с течением времени должны были почувствовать стремление к их реальному распространению, к воплощению в формах объективной действительности, которыми они раньше пренебрегали. И на этом пути перед ними еще шире раскрывались перспективы этой действительности, и они начинали испытывать их могущественную великую силу. Опять Белинский и Герцен были корифеями этого глубокого общественно-психологического движения, сильнее других чувствуя нарождавшуюся «реалистическую потребность». – Как напор речного течения возрастает от запруды, так и эта потребность только усиливалась от того, что власть, ревниво охранявшая свою абсолютность, всячески препятствовала активизации духовной жизни. А правительственный режим того времени общеизвестен. Особенно тяжким стал он, начиная с конца 40-х годов, и продолжался в таком виде до самой крымской кампании. Доходило до преследования «вольного духа» в поваренных книгах и прабабушкиных сонниках. Вызванная глубокими психологическими причинами, «реалистическая потреб-

ность» только накоплялась и концентрировалась под давлением этого режима и ждала первого благоприятного повода, чтобы прорваться со всесокрушающей силой. – Заметим, что эта исподволь готовившаяся реалистическая революция сказалась уже в философской мысли конца 40-х гг., в экономических сочинениях Милютина, печатавшихся в «Современнике» и «Отечественных Записках». Горячий поклонник философии О. Конта, Милютин был одним из пионеров позитивизма в России. А позитивизм является одним из самых реалистических философских течений, когда-либо существовавших (имеем в виду позитивизм «Курса положительной философии» Конта).

Крушение николаевского общественного и политического режима после Крымской кампании ослабило большую часть препятствий, мешавших укреплению и росту «реалистической потребности», и в открывшейся картине нашей социальной и государственной самостоятельности все усмотрели достаточно широкое поле для самой неотложной «реальной» работы. Принялись изучать и обличать нашу общественную действительность, как она есть, находя удовлетворение уже в признании ее фактически-негодного состояния. Все хотели исправить ее вопиющие недостатки, считаясь, однако, с фактами и опытом.

Но тут дело осложнилось рознью поколений. Если «отцы», изголодавшиеся по «реальной» работе, охотно и усердно предались ей, искренне считая себя в достаточной степени «реалистами», то «дети», напротив, обличали в них недостаточное знание действительности и неумение считаться с нею надлежащим образом. И в самом деле, эпоха господства «субъективного духа» не прошла даром для людей 40–50-х годов, уцелевших и сохранивших способность работать в обстановке «кануна освобождения» и следовавших за ним «великих реформ». В их деятельности сказывались черты прошлого – слабость инициативы, робость практической мысли и действия, непривычка к «реальной» работе на свету и в виду целого общества. Кроме того, больше связанные со старым порядком жизни, чем их молодые современники, они не шли так же далеко, как последние, в «отрицании» этого порядка и часто останавливались там, где по мнению молодежи как раз и начиналась «настоящая» работа. Они жаждали успокоения и порядка, и сумбур окружающей жизни производил на них гнетущее впечатление «дыма» и суеты. Скоро они разочаровывались в происходящем, не укладывавшемся в рамки их идеалистически-воспитанного сознания и брезгливо отворачивались от влияний времени, к которым их не подготовила предшествующая жизнь. «Я видел и слышал эту несчастную молодежь, боготворившую Герцена и Бакунина за неимением к почитанию ничего лучшего». Так реагировал один из авторитетнейших «отцов» Пирогов[4]. «Нынешние крайние либералы, записал в своем дневнике другой из «отцов», Никитенко, – со своим повальным отрицани-

[4] См.: Пирогов Н.И. Сочинения в 2 т. Т. 2. Вопросы жизни. Дневник старого врача. Киев: Пироговское тов-ство, 1910. С. 276.

ем и деспотизмом просто страшны»[5]. Близкий к отцам, Чичерин тоже писал в одном своем письме к Герцену: «Бранью же, Боже мой!... полнится Русская Земля. Все бранятся, от малого до великого, во всех сферах, на всех ступенях общества, везде слышишь одно и то же – критику бесцельную, бестолковую. Тошно становится от этого хора»[6]. К этому письму, напечатанному Герценом в «Колоколе», присоединились потом, с оговорками, такие видные представители старшего поколения, как Кавелин, Бабст, Н. Тютчев, Анненков, Тургенев и Скребницкий[7]. «Белоручи», «желчевики», «лишние люди» – отвечали им на это «дети», устами Чернышевского[8]. И, отчасти по психологическому контрасту, управляющему особенно у нас сменою поколений, отчасти благодаря свежести и нетронутости своих сил, отчасти же и просто под влиянием задора молодежи, – «дети» бросились в объятия самого крайнего «реализма», который, в глазах разочарованных отцов, удостоился только имени «нигилизма».

Нигилизм 50–60-х годов был, в сущности, только общественно-психологическою формою реалистической «тяги», овладевшей молодежью. Помимо «отрицания», в нем заключалось положительное ядро устойчивых верований и чувствований. Нигилисты верили в то, что существует некоторый незыблемый строй вещей, ясный, простой, и в конце концов, не враждебный человеку, если последний сумеет овладеть его законами и приспособит его к своим потребностям. Это верование лежало в основе культа естествознания, которым отличалось молодое поколение 50–60 гг. Напрасно стали бы мы думать, что оно любило природу и интересовалось ею, как таковою. Люди того времени больше всего интересовались человеком, особенно человеком в его внешнем бытии, смятенным, хаотическим и несчастным. Рядом с ним, «красою вечною сияла» природа, – воплощенный порядок, гармония и спокойствие. Естествознание чаровало умы тем, что вводило их в этот стройный мир, где все казалось естественно устроенным, простым и совершенным. Отсюда падал отблеск и на дела человеческие, которые людям 50–60-х годов хотелось устроить столь же совершенным образом. И они верили еще, что для этого нет нужды культивировать в себе добродетели тютчевского Silentium, незачем углубляться в себя и вызывать в «ду-

[5] См.: Никитенко А.В. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Зап. и дневник (1804–1877 гг.). 2-е изд., испр. и доп. по рукописи под ред., с примеч., предисл. и алф. указ. М.К. Лемке. Т. 1. СПб.: М.В. Пирожков, 1904. С. 526.

[6] См.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. XV. СПб.: Тип-фия М. М. Стасюлевича, 1901. С. 255.

[7] Там же. С. 261–268.

[8] Эта рознь отцов и детей хорошо изложена у В. Богучарского в ст. «Столкновение двух течений общественной мысли» (в его сборнике «Из прошлого русского общества», 1904 г.) и освещена психологически в книге Н. Котляревского «Канун освобождения» (1916 г.) (см.: Богучарский В.Я. Столкновение двух течений общественной мысли // Из прошлого русского общества. СПб.: Кн-во М.В. Пирожкова, 1904. С. 228–253; Котляревский Н.А. Канун освобождения. 1855–1861. Из жизни идей и настроений в радикальных кругах того времени. Пг.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1916. – Примеч. ред.).

шевной глубине» призраки желанной жизни, – достаточно изменить лишь внешние условия жизни, упорядочить ее общественный строй и поставить каждого человека в такую объективную обстановку, в которой он не мог бы не быть хорошим, стал бы естественно прекрасным, как прекрасна по своему гроза, происходящая по законам природы, или еще – круговращение светил, правильность которого так восхищала людей того времени. Жизнь должна быть благоустроенной машиной, выпускающей доброкачественные фабрикаты, сорт которых всецело зависит от того, каков способ их приготовления: эта машина – общество, фабрикаты – люди, а сорт их определяется организацией общества. Так реалистическая потребность облекалась у людей 50– 60-х гг. в форму натурализма, и они привыкали смотреть на свою жизнь и на себя самих, как на объективные явления природы. Тогда как идеалисты 30–40-х годов ко всему подходили прежде всего с меркою ценности – реалисты 50–60-х гг. во всем искали прежде всего естественности. И оттого они требовали от себя и других прямоты и искренности и скорее готовы были возводить на себя небывалые вины, чем рисоваться какими-нибудь совершенствами. Столь распространенный среди них утилитаризм был любопытнейшим выражением их натуралистических, т.е. реалистических склонностей. Мораль идеалистическая отталкивала их не своей высотою, которую они вполне постигали, а тем, что в ней заключались абсолютные предписания, независимые от строя природы и как бы выделяющие из него человека. Напротив, утилитаризм привлекал их к себе тем, что ставил нравственные нормы в зависимость от реальной природы вещей, и прежде всего – от природы живых существ, в том числе и человека. Всем им по природе, естественно присуще стремление к собственной пользе, и таким образом, вся наша утилитарная нравственность есть явление, не выходящее из рамок законов природы. Так и в нравственности сохранялся натурализм, крайняя форма реализма, характерная для молодого поколения 50–60-х гг.

Итак, реалистические склонности не чужды обоим поколениям 50–60-х годов, но у каждого из них проявляются различно. Эта двойственность отразилась и в философии тех десятилетий. Проникнутая вообще реалистическими мотивами, философия 50–60-х гг. развивалась в двух руслах, соответственно розни «отцов» и «детей».

Философски бледный Новицкий, – один из отцов, – несомненно, ощущал сильную реалистическую потребность, когда заявлял, что «философская мысль хочет в чистом мышлении воспроизвесть и понять действительность саму в себе, или истинно-сущее бытие, к которому относится и сама»[9]. Но он был слишком еще во власти прошлого, под обаянием идеализма 30–40-х годов, чтобы удовлетворение этой реалистической потребности поставить на почву опре-

[9] См.: Новицкий О.М. Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. Ч. I. Религия и философия древнего Востока. Киев: Университетская Типография, 1860. С. 9.

деления «истинно-сущего бытия»: для него эта проблема заменяется вопросом об истинно ценном бытии, которое он понимает богословски, т.е. в виде Бога. Два шага вперед в сторону реализма, в соответствии с новыми веяниями; шаг или больше – назад от него, в угоду не изжитому еще прошлому: такова формула реализма всех философствующих «отцов» 50–60-х годов. Таков и Карпов. Целью мышления он считает созерцание истины, которую определяет по-гегелевски, как совпадение мыслимого с реальным. Потребность в возможно полном овладении реальностью ощущается им с такою силою, что, соразмеряя наши познавательные силы с объемом действительности, он отчаивается когда-либо достигнуть ее полного познания. Но она влечет нас к себе, и мы всегда будем стремиться разгадать всю ее полноту. Таков один мотив, ярко реалистический. Но с ним переплетается и его ослабляет другой, идеалистически-оцененный. Почему полное познание реальности недостижимо? Потому что «человеческое мышление… никогда не сделается формою безформенных мыслей Божиих…». Почему мы все-таки обречены тянуться к познанию действительности? Потому, что «побуждаемые самою же истиною» будем всегда стремиться к ней «и в многоразличных сочетаниях знаний угадывать отражения неисследимой Божьей премудрости…»[10]. Так и здесь проблема реального бытия, путем богословской подтасовки понятий заменяется проблемой ценнейшего бытия и нашего к нему отношения. – Могущественная реалистическая потребность является одною из главных основ и славянофильского миросозерцания.

«Познание рассудочное, говорит Хомяков, не обнимает действительности познаваемого… а между тем мы говорим про эту действительность… Какое же это знание, которое не есть знание рассудка? Оно не имеет самостоятельности, отрешенной от действительности познаваемого, но за то оно проникнуто всею его действительностью и разумеет самую связь этой действительности с действительностью еще непроявленного первоначала; оно бьется всеми биениями жизни, принимая от нее все ее разнообразие…». Казалось бы, вот где перед нами основа самого реалистического мировоззрения. Но быстро следует разочарование. «Это полнейшее развитие внутреннего знания и разумной зрячести было названо верою по преимуществу…»[11]. И что бы ни говорили славянофилы о познавательных функциях этой «веры по преимуществу», они не даром усвоили ей это название: она не познание, а акт волевой оценки, напряженное хотение и ожидание не сущего, а ценного[12]. И когда Хомяков,

[10] См.: Карпов В.Н. Систематическое изложение логики. СПб.: Типография Якова Трея, 1856. С. 79–80. (В цитируемом Т.И. Райновым отрывке речь идет о рассудке. – Примеч. ред.).

[11] См.: Хомяков А.С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского // Хомяков А.С. Полное собрание сочинений в 8 т. Т. 1. М.: Университетская типография, 1900. С. 278–279; С. 282. (Указание страниц поправлено. – Примеч. ред.).

[12] Так определяет сущность религиозной веры Геффдинг в «Философии религии» (см.: Høffding H. Religionsphilosophie. Leipzig: O.R. Reisland, 1901. S. 104–106; рус. пер.: Геффдинг Г. Философия религии. СПб.: Т-во «Общественная Польза», 1912. С. 113–16. – Прим. ред.).

немного ниже, объявляет основным мироправящим принципом «закон любви», мы прямо переходим от реалистического вопроса о сущем к идеалистической проблеме ценного. Подобный же переход мы видим и у другого славянофила, Киреевского, когда он, заявив сперва, что «главный характер верующего мышления заключается в стремлении… отыскать… внутреннее средоточие бытия», он раскрывает затем содержание этого «средоточия бытия» не в терминах сущего, как следовало бы реалисту, а терминах ценности, как подобает идеалисту: здесь, в этом «средоточии», «разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума сливается в одно живое единство…»[13].

Полагая в основу вещей «идею», и Юркевич истолковывает ее реалистически. «Не вдали где-то, за пределами всякого внешнего и внутреннего опыта лежит эта идея, в пользу которой не было бы свидетельства в предлежащем нам мире. Идеальные связи и идеальные отношения между вещами и событиями должны быть явлением и фактом. Таким образом, идею мы должны находить в действительности, как нечто данное, положительное, открываемое и познаваемое». Принадлежа по летам скорее к младшему, чем к старшему поколению 50–60-х годов, Юркевич вводит в свое миросозерцание идеалистические моменты гораздо осторожнее «отцов», с которыми его сближает общий характер его убеждений. Поэтому, оставаясь в существе своем понятием ценностным, его «идея» не лишена и реального содержания: если, с одной стороны, она – «разумная и единичная сущность вещи», то с другой Юркевич усматривает в ней «нечто более жизненное и более существенное, чем простая логическая мысль», – она «обнаруживает себя многообразно и богаче, чем логическая идея»[14] Юркевич является как бы переходной фигурой от философствующих «отцов» к «детям» 50–60-х гг.

Но эти «дети» чувствовали себя бесконечно далекими и от него, и, еще более, от настоящих, закореневших «отцов». «Для меня, заявлял, например, Писарев, статья Юркевича написана на неизвестном языке»[15]. А по поводу славянофильской «умозрительной» философии он же писал, что она – «пустая трата умственных сил, бесцельная роскошь, которая всегда останется непонятной для толпы, нуждающейся в насущном хлебе»[16]. Более серьезный и сведущий Чернышевский делал такой же презрительный жест пренебрежения и равнодушия к философии отцов, несмотря на ее реалистические моменты. «Я не знаю, писал он по поводу статьи Юркевича, отмеченной и Писаревым и

---

[13] См.: Киреевский И.В. Отрывки // Киреевский И.В. Полное собрание сочинений в 2 т. Т. 1. 1911. С. 275. (У Т.И. Райнова указано «Отрывки», появившиеся в 1857 г.» – Испр. ред.).
[14] См.: Юркевич П.Д. Идея // Журнал министерства народного просвещения. 1859. Ч. CIV. Отд. II. С. 123–124. (Отд. оттиск, С. 72–73). (Точная ссылка на ЖМНП восстановлена. – Примеч. ред.).
[15] См.: Писарев Д.И. Московские мыслители // Писарев Д.И. Полное собрание сочинений в 6 т. Т. 2. СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1894. С. 195. (Правильная ссылка восст. – Примеч. ред.)
[16] См.: Писарев Д.И. Русский Дон Кихот // Писарев Д.И. Полное собрание сочинений в 6 т. Т. 2. СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1894. С. 220. (Правильная ссылка восст. – Примеч. ред.)

направленной прямо по адресу Чернышевского, как автора “Антропологического принципа в философии”, – я не знаю, каких лет Юркевич; если он уже не молодой человек, заботиться о нем поздно. Но если он еще молод, я с удовольствием предлагаю ему тот небольшой запас книг, каким располагаю…». А что касается статьи Юркевича, «я еще не читал ее, и не прочту ее, не прочту и всего извлечения, напечатанного в “Русском Вестнике”, а прочту в корректуре тот отрывок из извлечения, который отметил я для вставки в эту статью. Я вперед знаю все, что я прочту в нем, все до последнего слова, и очень многое помню наизусть. Известно, как пишутся эти вещи, и что пишется в этих вещах, – то есть известно это нам, семинаристам. Другие могут считать это новым, – могут, пожалуй, считать хорошим, как им угодно. А мы знаем, что это такое»[17]. «Сплошной ряд заблуждений, взятых у Рида и доведенных всюду ad absurdum, прибавкою схоластического наследства, хранившегося в современной Канту ученой Германии» – вот «что это такое» у авторитета старых философов Канта, по определению Троицкого. Но «безспорно», прибавляет он, в философии Канта еще «есть две-три здравых мысли», а вот во всей остальной немецкой философии после Канта и того нет, а есть лишь «идеализм, переходящий, наконец, в патентованную чепуху, и реализм, который в психологии Бенеке выразился, по замечанию Наловского, «до возбуждения тошноты»[18]. И Лавров, украдкою кивая на отцов, предоставляет идеалистам, как «любителям призраков», «гоняться за призраками»[19], и даже Страхов, во многом сочувствовавший идеализму Канта и Гегеля, отзывался неодобрительно о крайних идеалистах из отцов, «которые отвергают жизнь и признают существенным что-то другое». «Сюда относятся, пояснял он, Киреевский, А. Хомяков и другие действительные знатоки и любители мудрости святой Руси»[20].

«Новые философы» аттестуют свой реализм самым лестным образом. «Кто может рассуждать самостоятельно, похвалялся Антонович, чья мысль еще не совершенно порабощена преданиям старой философии, кто способен хоть на самое скромное сомнение, – тот необходимо пойдет по пути, какой пролагают для человека новые современные системы философии. В них все так просто и естественно; мир, с его явлениями, в том числе и человеком, рассматривается, как они есть и как мы видим их на самом деле, обращается внимание именно на то, что приковывает к себе мысль каждого; всякий видит в них что-

[17] См.: Чернышевский Н.Г. Полемические красоты // Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. VIII. СПб.: Типография Ц. Крайза, 1906. С. 237.
[18] См.: Троицкий М.М. Немецкая психология в текущем столетии. Историческое и критическое исследование. С предварительным очерком успехов психологии со времени Бэкона и Локка. М.: Тип. Рис, 1867. С. 425; С. 631.
[19] См.: Лавров П.Л. Практическая философия Гегеля. Статья вторая и последняя // Библиотека для чтения. 1859. Т. 155. С. 59.
[20] См.: Страхов Н.И. Значение Гегелевской философии в настоящее время // Страхов Н.И. Философские очерки. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1895. С. 24 и след.

то родное, близкое; замечает, что тут дело идет именно об нем и о его действительной жизни, а не о каких-то абсолютных приведениях. А главное – тут никто никогда не потребует неестественных жертв, отречения от законов и требований ума и мысли; принуждений, страха и наказаний нет никаких… А самое главное – новейшие реальные системы философии вполне соответствуют общим стремлениям современного человека, направлению его мыслей к совокупному движению всех наук»[21]. Естественность, натурализм является преобладающей чертою реализма «детей», и требование «естественности» мы найдем в том или другом виде у всех их.

У некоторых натурализм переходит прямо в материализм, так как с точки зрения тогдашнего естествознания в его популярном понимании «природа» и «материальная природа» означали одно и то же. Поэтому, реалисты материалистического направления ставили себе задачею доказать, что душевная жизнь не отличается по существу от материальных явлений. Доказывалось это обычно указанием на возможность непрерывного перехода от последних к явлениям душевной жизни. Они кажутся различными, – так: «действительно, контраст разительный, скачок большой, писал, напр., Антонович; но такие ли еще штуки отмачивает природа, – она озадачивает нас еще большими контрастами и резкостями; однако-жь наука смело обобщала эти контрасты, и оказывалось, что она поступала недурно»[22]. «Также точно, продолжает Антонович, между внешними явлениями и сознанием мы воображаем себе непроходимую бездну, ненаполненную пустоту, бесконечную разницу именно потому, что мы не обращаем внимания на те многочисленные и сложные процессы, которые посредствуют между явлением и сознанием, которые образуют промежуточные звенья между ними; мы не хотим, или не умеем заметить постепенности перехода от внешнего к внутреннему, берем одновременно крайние грани или пределы; оттого они и поражают нас своим резким различием»[23]. Таким образом, все явления «составляют только один мир, подчиненный одним общим законам развития и жизни, где одно входит в другое, начало соединяется с концом, конец возвращается к началу, а не теряется где-то в туманной синеве бесконечности…»[24] – Еще раньше Антоновича такие же мысли развил Чернышевский применительно к более узкому вопросу – о природе человека. «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма, наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видят медицина, физиоло-

---

[21] См.: Антонович М.А. Два типа современных философов // Современник. 1861. Т. LXXXVI. Отд. 2. С. 363–364.
[22] Там же. С. 398.
[23] Там же. С. 399.
[24] Там же. С. 416.

гия, химия» и еще то, что ничего другого в человеке нет[25]. Душа и тело только логически различны, а реально – они – стороны одного и того же единства, человеческого организма. А так как «физиология и медицина» находят, что человеческий организм есть очень многосложная химическая комбинация, находящаяся в очень многочисленном химическом процессе, называемом жизнью»[26], то материальное и органическое, в частности психическое составляют только различные ступени химического процесса[27]. Таким образом, «дыхание, питание, кровообращение, движение, ощущения» образуют «одно неразрывное целое»[28]. Человек не отличается по существу от животного. Мыслит не только он, но и собака, и если она бежит при виде поднятой на нее палки, это потому, что «у ней в голове построился… силлогизм» соответствующего содержания[29]. Разбирая эти мысли Чернышевского, Юркевич много и остроумно воспевал эту собачью силлогистику, предлагая взамен ее более материалистический механизм бессознательных рефлексов. Без сомнения, он оказался при этом более верным «выработанной естественными науками идее о единстве человеческого организма», чем Чернышевский. Но он не оценил этого промаха своего противника, вообще склонного, по наблюдению Юркевича, «сливать и сглаживать разности явлений». Юркевич не задал себе вопроса, почему это уравнение явлений производится у Чернышевского с двух концов: со стороны неорганической природы (все – химизм) и со стороны органической (и животные мыслят, а растения – только степенью ниже животных). Чернышевский жаждет «естественности» и верит, что ее можно найти, лишь уравняв человека с явлениями неорганическими и органическими: только в этой связи человек реален, а наше знание о нем – реалистично. Тем же мотивом руководился, без сомнения, и Сеченов, когда, пользуясь в своих «Рефлексах головного мозга» понятием нервного рефлекса, старался представить душевную жизнь, как более или менее усложненный, химико-рефлекторный механизм. И Писарев останавливался на этой материалистической концепции именно в поисках «строгого, последовательного реализма»: материализм позволяет нам объединить весь мир с помощью немногих понятий и законов, он резко и определенно обозначает в нем положение человека и тем удовлетворяет «экономии умственных сил», которая и «есть ничто иное, как строгий и последовательный реализм».

Реализм только что рассмотренной группы «детей» более или менее откровенно переходит в материализм. У других представителей того же младшего поколения 50–60 гг. реалистическая потребность выражается более сдержанным, но все еще явственным образом. Сюда относятся Лавров, Троицкий и

[25] См.: Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. VI. СПб.: Типография и Литография В.А. Тиханова, 1906. С. 194.
[26] Там же. С. 217.
[27] Там же. С. 198.
[28] Там же. С. 218.
[29] Там же. С. 225–226. (Ссылка исправлена. У Т.И. Райнова неверно указан Т. IV. – Примеч. ред.).

Потебня. – Взгляды Лаврова носят двойственный характер. Он хочет удержать хорошие, по его мнению, стороны идеализма, оставаясь в основе реалистом. Это значит, что он не пренебрегает проблемой ценности, хотя старается поставить и разрешить ее реалистически. Принцип его философии – «реальный человек», а задача философа – «понять действительность» с точки зрения этой реальной единицы[30]. Действительность делится у него на объективную, – действительность внешнего мира, – и на субъективную, – действительность наших душевных переживаний. Что касается первой, то «философия реального мира или философия природы, говорит Лавров, может… заключаться лишь в представлении мира, как механической системы, самым тесным образом примыкая к результатам научного исследования и классифицируя объективные явления в мире по мере их усложнения, начиная движением и кончая социальными явлениями»[31]. Таким образом Лавров дает частичное оправдание материализма – ведь, по его собственному признанию, «механическая теория мира» представляет только «более утонченную отрасль материализма»[32]. Для субъективно-психической действительности он удерживает принципы идеализма, но допускает «скептически», что материалистическая точка зрения может быть распространена и на эту область. Впрочем, иногда он переносил ее сюда и «догматическим» образом. Так, он писал, например, что идея «зарождается в мозгу личности» и что знание становится реальным фактором прогресса «во первых, в мозгу того, кто его употребит в технике или в обобщенной мысли; во вторых, в мозгу того самого, кто вырабатывает факты науки»[33]. А под конец своей жизни Лавров стал выражаться в материалистическом духе еще категоричнее. «Конечно, заявлял он тогда, приходится признать, что от этого общего процесса (движения) и от перехода одной и той же неистребимой энергии в ту или другую форму зависит и наблюдаемое нами химическое разнообразие веществ, и распределение миров в пространстве или горных пород в земной коре, формы материков и океанов на земной поверхности, и различные ступени эволюции мира организмов, и все разнообразие психических процессов понимания, эффекта и воли, совершающихся в человеческих особях, и, наконец, события истории с их драматизмом и увлечениями»[34]. – Троицкий держался реализма в окраске английского эмпиризма. «Факт», «опыт», «индукция», «ощущаемый

---

[30] См.: Лавров П.Л. Задачи позитивизма и их решение: теоретики сороковых годов в науке и верованиях. СПб.: Ред. «Рус. Богатство», 1906. С. 65; Лавров П.Л. Практическая философия Гегеля. Статья вторая и последняя // Библиотека для чтения. 1859. Т. 155. С. 59.

[31] См.: Лавров П.Л. Задачи позитивизма и их решение: теоретики сороковых годов в науке и верованиях. СПб.: Ред. «Рус. Богатство», 1906. С. 63–64. (Ссылка исправлена. – Примеч. ред.)

[32] См.: Лавров П.Л. Задачи позитивизма и их решение: теоретики сороковых годов в науке и верованиях. С. 32.

[33] См.: Лавров П.Л. Исторические письма. СПб.: Тип-фия Клобукова, 1905. С. 96; С. 106. (У Т.И. Райнова неверно указаны с. 66; с. 76. – Примеч. ред.)

[34] См.: Лавров П.Л. Задачи понимания истории: проект введения в изучение эволюции человеческой мысли. М.: Изд. М. Ковалевского, 1898. С. 140–141.

мир» – вот понятия, лежащие в основе этого реализма, а все прочее – «патентованная чепуха». Потебня, находившийся под влиянием Канта и Гегеля (через В. Гумбольдта) осторожнее всех своих сверстников относился к «метафизике», в том числе и реалистической или материалистической. Но и он полагал, что «действительное знание для человека есть только знание сущности»[35], и мы познаем прежде всего сущности внешнего мира, для нас по преимуществу реальные, а от них переходим и к внутреннему. «Человек обращается внутрь себя только от внешних предметов, познает себя сначала только вне себя; внутренняя жизнь всегда имеет для человека непосредственную цену, но сознается и уясняется только исподволь и посредственно… Кажется, будто природа импонирует человеку, который освобождается от ее давления лишь по мере того, как посредством языка слагает внешние явления в систему и осмысливает их, связывая с событиями своей душевной жизни»[36].

В этих словах превосходно подмечена и выражена привычка не столько человека вообще, сколько именно человека 50–60-х гг. выходить в мышлении не из субъективных, а из более или менее объективных моментов. В настоящее время мы знаем, что действительным путем первичной, примитивной мысли является путь не от природы к человеку, а от человека, от человеческой общественности к природе[37].

Но реалистическая потребность была так сильна у людей 50–60 гг., что они обращали этот нормальный порядок, выдвигая на первый план «природу», – не потому, впрочем, что она – природа: повторяем, сама по себе, она интересовала их мало, – а потому, что она есть нечто по преимуществу объективное и реальное. Даже такие осторожные люди, как Потебня, оставались, по крайней мере, в этом отношении – натуралистами, приверженцами натуралистического реализма.

Как сильна была потребность в реализме, мы видим в особенности на примере Страхова. Принадлежа, в общем, к «детям», он сходился отчасти и с «отцами», например, в культе Гегеля. В 1860 году он писал такие восторженные слова о философии Гегеля: «Система Гегеля представляет… роскошный цветок и плод ума человеческого. Она носит на себе все признаки такого довершения, она удовлетворяет всем требованиям, какие вытекают из самого строгого понятия о философии»[38]. Казалось бы, вот мыслитель, чуждый реалистическим веяниям 50–60-х гг. А между тем, большая часть статей, написанных им в 1858–1865 гг. и вошедших позднее в его книгу «Мир, как целое», проникнуты ими до такой степени, что Страхов представляется во многих отношениях

[35] См.: Потебня А.А. Мысль и язык. Харьков: Тип-фия «Мирный труд», 1913. С. 125.
[36] Там же. С. 175.
[37] Имеем в виду исследования Дюркхейма и Мосса о психологии примитивных представлений и книги Дюркхейма о религии и Леви-Брюля о примитивном мышлении.
[38] См.: Страхов Н.И. Значение гегелевской философии в настоящее время // Страхов Н.И. Философские очерки. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1895. С. 14.

заправским «нигилистом». Он и сам свидетельствует о том, что мысли, изложенные им в этой книге, «увлекли» его «с непобедимою силою» и имели в его глазах «математическую очевидность»[39]. Среди этих мыслей одною из руководящих является, например, следующая: «человек постоянно ищет выхода из этого (реального мирового) целого, стремится разорвать связи, соединяющие его с этим миром, порвать свою пуповину… Никто только не думает, что задача должна быть решена теперь и здесь; и что всякое перенесение решения в другое время и в другое место есть только обман, которым мы сами себя тешим»[40]. В этих словах выражена сильнейшая тяга Страхова к реальной действительности со всеми ее недостатками. И он до того был привязан к ней, что в самой смерти, являющейся уделом всего живого, находил нечто положительное. Для него смерть представляет даже «одно из совершенств организма, одно из преимуществ их над мертвою природою. Смерть – это финал оперы, последняя сцена драмы; как художественное произведение не может тянуться без конца, но само собою обособляется и находит свои границы, так и жизнь организмов имеет пределы. В этом выражается их глубокая сущность, гармония и красота, свойственная их жизни». Дело в том, что всякий организм есть «организация во времени», растущая и развивающаяся. Но «это движение не может идти без конца… Понятие о бесконечном совершенствовании невозможно». «Так точно, как для каждого организма есть определенный рост, и вообще говоря тип определеннее, чем выше организм, – так точно для каждого организма есть эпоха совершенства, эпоха достижения того идеала, к которому идет совершенствование организма». С достижением этой эпохи организм не может развиваться, идти вперед, и так как он не стоит и на месте, то идет уже назад. «Итак одряхление и смерть есть необходимое следствие органического развития». «Высокое и стройное развитие не терпит понижения; поэтому понижение обнаруживается как трагический удар, разрушающий все здание организма. С этой точки зрения смерть есть великое благо. Жизнь наша ограничена именно потому, что мы способны <u>дожить</u> до чего-нибудь, что можем стать вполне человеком; смерть же не дает нам <u>пережить</u> себя»[41]. Трудно представить себе больший апофеоз нашей «реальной» действительности, чем осмысление и благословление с ее точки зрения смерти, – осмысление и благословление не пессимистическое, а насыщенное чувством и радостью жизни. В нем находит свое высшее выражение широкое приятие действительности, как она есть, реалистическая готовность, свойственная людям 50–60-х гг., – жить и умереть «здесь и теперь», дав жизни все, что можно, и взяв от нее все – до последнего вздоха.

Жить, мыслить и чувствовать так – люди 50–60-х гг. могли, конечно, не только потому, что подчинялись властной реалистической потребности, но и

---

[39] См.: Страхов Н.И. Мир как целое. СПб.: Тип. К. Замысловского, 1872. С. V.
[40] Там же. С. IX–X. (В рукописи сноски нет. Восст. – Примеч. ред.)
[41] Там же. С. 124–134.

потому, что в их душах бил неиссякаемый источник идеализма. Они рвались в действительность, «как она есть», обнаженную от всего субъективного; но они сами освещали и согревали ее просторы идеалистическим горением своих душ, и она, в конце концов, была для них не просто «равнодушною природою», а прекрасным храмом, украшенным эмблемами человеческих ценностей. В этом отношении все они были более или менее «идеалистами», только часто бессознательными. Мы отчасти видели это, отчасти еще увидим. Таким образом, идя в удовлетворении своих реалистических потребностей гораздо дальше «отцов», нигилисты 50–60-х гг. далеко не освободились от их «идеализма». Они только переработали его соответственно требованиям реализма, в результате чего от «идеализма», как системы, у них сохранились только веяния и элементы, вкрапленные в реалистическую основу. Сохраняя, таким образом, преемственную связь с «отцами», нигилисты 50–60-х гг. были вместе с тем их продолжателями, более или менее самостоятельными и от них все дальше уходившими.